
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ТЕКСТА: ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЙ ПОДХОД

О.А.Воронкова

(*Москва*)

В статье на эмпирическом материале показаны возможности интерпретативного метода в анализе средств массовой коммуникации. Специфика предлагаемого подхода заключается в выявлении диалектического соотношения риторических и рациональных средств построения текста, что позволяет декодировать глубинные ценностно-нормативные основы производства социального смысла, противостоящие попыткам риторического манипулирования общественным сознанием.

Ключевые слова: социальный дискурс, коммуникативная практика, социальная идентификация, социальная значимость текста, риторическое и рациональное, доминантная символическая структура, критическая позиция.

Современное общество характеризуется высокой степенью самоидентификации, то есть осознания и открытого провозглашения собственной значимости в истории. С пробуждением общественного самосознания культура, то есть продукт социальной деятельности, выраженный символическими средствами, и, прежде всего, посредством языка, приобретает новое качество. Теперь “культура” это не только то, что отличает высшее от низшего в иерархической структуре, теперь это еще и то, что отличает один способ самовыражения от другого, стоящего рядом. Культурная сфера становится социокультурной, то есть такой, в кото-

рой символические продукты всех специфических видов деятельности, включая те, что осенены властью, проверяются на достоверность, общественную полезность и значимость, где они вынуждены искать сочувствия, оправдания и легитимации, и где, в случае нахождения, получают путевку на дальнейшую социальную реализацию. Общество обретает свою идентичность через коммуникативный поиск и отбор лучших форм самоорганизации.

Ключевые слова культуры различных исторических эпох отражают концепции как самой социальной реальности, так и научной рефлексии по поводу этой реальности. Вместе (или почти вместе) с изменением состояния общественного сознания обозначился концептуальный поворот в гуманитарной науке.

Традиционное исследование культуры это, прежде всего, - прослеживание развития доминантных форм символического выражения, влияющих на определение “правильности” общественного понимания действительности и обычно подавляющих спонтанно возникающие критические мнения и альтернативные способы самоутверждения. Традиционный анализ текста заключается в анализе ключевых символов, подтверждающих валидность элементов господствующей традиции: оценочных критериев, литературных правил, идеологических постулатов. Любая критика доминантных символов и способов их подачи должна получить разрешение на право быть, пройти жесткую цензуру со стороны носителей культурного диктата, не допускающих выхода за пределы традиционной концепции. Широкая волна социальной идентификации, то есть выработки четких критических позиций по отношению к устаревшей традиции, вызвала изменения и в характере научного подхода к изменившейся культурной среде.

Современная социология рассматривает культуру как коммуникативную, или точнее, дискурсивную практику, то есть такую, в которой происходит не просто обмен мнениями, но поиск принципиально необходимого согласия как между сферами власти и общества, так и между различными внутрисоциальными сферами.

ми. Исторический переход от вертикально иерархического структурирования культурных знаков и символов к горизонтально коммуникативному вызвал потребность в развитии семиотики как специфической знаковой теории для концептуальной работы с комплексным социально-символическим пространством. Семиотика принципиально настаивает на определении коммуникативной практики как социального производства смысла [2]. Социально производимый смысл вместе с авторитетной заданностью теряет и четкую определенность. Социальный смысл репрезентирует динамическое столкновение многих действующих в социальном пространстве факторов: устаревающих, но еще влиятельных элементов традиции, критического вызова со стороны обретающего идентичность социального субъекта и дискурсивного согласования часто не совпадающих позиций. Принципиально иной характер приобретает и методология его исследования. Смысл более не поддается однозначному объяснению в рамках традиционной концепции, но требует *интерпретации*, то есть комплексного анализа способов его производства и реализации. Основным методологическим вопросом становится поиск социальной истины, утратившей догматичный характер. Какие из предлагаемых позиций, претендующих на валидность, действительно являются социально значимыми? В какой точке пересечения тенденций и частных мнений образуется социальная истина? В поиске ответов на эти вопросы состоит задача предлагаемого в данной статье интерпретативного подхода к анализу текста. На фактическом материале делается попытка показать, как на пересечении различных влияний, историко-контекстуальных, идеологических, субъективных, проявляется культурное ядро социального здравого смысла, то есть та ценностно-нормативная основа, которая позволяет сохранять и воспроизводить лучшее в социальной традиции и противостоять попыткам манипуляции общественным сознанием.

Социальная значимость текста

Главным требованием интерпретативного, как и любого качественного, анализа является сохранение содержания текста как значимого целого. Но возникает необходимость понять, что есть текст как значимое целое. Как считает Пол Рикер, любое социально значимое действие может рассматриваться как текст [4]. Согласившись с этим, вряд ли можно принять обратное - не всякий текст может стать социально значимым явлением.

Смысл словам придается живой социальной практикой. Социально значимый текст есть не просто символическая презентация каких-то фактов; текст не имеет социальной значимости, если не вызывает ответной реакции со стороны аудитории, которой он адресован. Социально значимый текст предполагает наличие не только семантического, языкового поля, в котором он проверяется на формально-знаковую корректность и логическую не-противоречивость, - важно образование семиотического пространства, в котором возможно достижение взаимной заинтересованности и автора и его аудитории в излагаемом событии, и общего понимания потенциальной *влиятельности* этого события на последующие действия. Текст - это фрагмент целостной и динамичной реальности, которая создается действующими в разных направлениях социальными субъектами. Текст возникает на пересечении социальной практики автора и социальных практик каждого из его читателей. Таким образом, он является семиотической единицей символической структуры, интегрирующей различные практики в единый социально-символический контекст. Неизбежное сплетение намерений автора и социального контекста определяет границы и возможности производства и интерпретации текста. Живой текст сохраняет в себе некоторую неоднозначность благодаря различию субъективных опытов автора и воспринимающей аудитории, но его смысловая вариативность всегда ограничена объективным состоянием социальных отношений. Текст есть

рефлексивный продукт данной эпохи, частное отражение общественного менталитета, и это минимизирует опасность чистого субъективизма в *производстве* текста. Такова же социальная основа *интерпретации* текста. Любая интерпретация не является чисто произвольной, она есть продукт дискурсивного пересечения мнений. Научная интерпретация подкреплена, кроме того, принятой исследователем на вооружение научной позицией, которая есть результат долгого тестирования, то есть практического подтверждения или опровержения постоянно обсуждаемых научным сообществом теоретических положений. Концептуальная поддержка объективирует и легитимирует попытки частного научного подхода к интерпретации. Интерпретативный анализ текста начинается с концептуальной установки, которой вооружен социолог, и кончается содержательной концепцией, подтверждающей и развивающей или опровергающей предыдущую научную позицию. Концептуальная позиция играет роль того “предрассудка”, которому Гадамер приписывал организующую и в то же время активизирующую роль в процессе понимания, который, с одной стороны, является референтной основой, задающей ориентацию в данном поле, а с другой, - открывает познавательные перспективы тому, кто готов приложить усилия по преодолению диктата установки [1]. Это положение можно считать точкой отсчета в интерпретативном анализе текста.

Текст, как продукт самовыражения автора, призван внести некую особенность в общую струю мышления: выступить против отживших форм традиции или, наоборот, за восстановление лучшего из традиций, отвергаемого каким-то неприемлемым, с точки зрения автора, новшеством. Текст является социально значимым, когда он вступает в определенные отношения с доминантной символической структурой, то есть когда он предъявляет обществу свою критическую позицию. Термин “критическая позиция” понимается в данном контексте не просто как отрицание того, что кажется несовершенным, неправильным или устарев-

шим, но в более широком смысле, как четко сформулированная ответная реакция: согласие, подтвержденное новой аргументацией, или несогласие частного лица с обобщающей тенденцией. Критическая позиция автора, выраженная в тексте, вступает в диалектические отношения с общим процессом символического структурирования, то есть с организацией разделяемых обществом символов в целостную систему. Социальная значимость текста, или его качество, определяется, таким образом, его социально критической направленностью [3] и степенью свободы социального дискурса. В обществе, достигшем высокой степени идеологической формализации и схематизации, то есть в таком, где уже нет *легитимного* места свободному обмену мнениями, “качеством” обладают скорее те тексты, которые каким-либо образом не вписываются в монотонность символической структуры. Судите сами: какое “качество” несли тексты-лозунги, озвучиваемые на коммунистических партийных съездах 70-80-х годов, неизменно сопровождаемые “бурными, продолжительными аплодисментами”. Тексты, изо дня в день повторяющие одно и то же, не предлагающие ничего нового, не содержащие никакой субъективной оценки, не имеют и социального качества. Не случайно, не было смысла развивать качественный анализ текста в социологии “политически застойного” времени. Большинство официально разрешенных текстов того времени оставались “проходными”, не замечаемыми или намеренно игнорируемыми общественным сознанием, как раздражающие своим однообразием. То, что приносит в текст качество, - это некая заявка на новизну (даже если новое это хорошо забытое, но ценное в данный момент времени, старое), активная поддержка или, наоборот, несогласие с доминантными символическими формами. Качественный вызов культурной монотонности и делает текст социально значимым действием. Так, за застывшей символической оболочкой коммунистической идеологии развивалось параллельное официальному социальному-дискурсивное пространство, выражавшее через аполитичный

язык альтернативной культуры: науки и искусства, фольклора в виде частушек, анекдотов и просто иронических фраз, свое реальное отношение к действительности. Простой пример: выцветшему коммунистическому лозунгу “Советский народ - строитель коммунизма” сам народ добавляет одно только слово “вечный”, так что получается ироническая фраза “Советский народ - вечный строитель коммунизма”, несущая социальное качество неверия в конечный успех политического предприятия, отрицания идеологической фальши.

Являясь продуктом сложного процесса социальной идентификации, личностная или групповая позиция выражает свою осознанную поддержку или сомнение, развитое до рациональной критики, всему тому, что было некритически, спонтанно усвоено в процессе социализации. Однако успех в продвижении любой позиции, то есть ее принятие на общественной сцене, одновременно означает начало трансформации ее инновационной, вызывающей роли в организующую и консервирующую. Другими словами, рациональные средства защиты позиции постепенно превращаются в риторические, которые, в свою очередь, потенциально подвержены вызову со стороны новой критической позиции. Критическая позиция, таким образом, становится принципиально ответственной за постоянный обмен между организующей и инновационной тенденциями, одним словом, за динамику символического структурирования.

Рациональные и риторические средства производства текста

Основной интерес интерпретативного анализа текста состоит в исследовании соотношения между рациональным (тем, что постоянно подпитывается динамикой социальной практики) и риторическим (символически фиксированным, а в конечной точке проекции застывшим, законсервированным). Если сфокусировать-

ся на самом процессе самоутверждения критической позиции в доминантной структуре, то необходимо различать, какой именно доминантной структуре адресована критика: рациональной или риторической, и, соответственно, какова сама эта критика: рациональная или риторическая. Однако совершенно ошибочно считать любую доминантную структуру (традицию, идеологию или здравый смысл) символически застывшей, риторической, а критическую струю рациональной. Собственно, не было бы и проблемы, если бы два течения были бы четко обозначены и ровно перетекали одно в другое, создавая гармонию плавного замещения всех отживших форм новыми, в полном соответствии с общими интересами и ожиданиями. Вопрос возникает тогда, когда трудно решить, кто ближе к истине: тот, кто защищает традицию или тот, кто пытается низвергнуть ее. Иначе говоря, отличие рационального и риторического не лежит на поверхности. Критическая позиция может выступить не только против отжившей традиционной формы, навязываемой изменившемуся обществу официальной риторикой. Критика может прикрываться вновь изобретенной или заимствованной из чужого социального поля риторикой, отвергая при этом подкрепляемую общественным здравым смыслом традицию (которая в данном случае будет рациональной). Текст, таким образом, не может считаться закрытым, четко сегментированным объектом с определенным раз и навсегда смыслом; это, скорее, поле смыслов с открытыми границами, в котором пересекаются различные, явные или скрытые, намерения и их возможные влияния на аудиторию. Задача аналитика здесь состоит в том, чтобы выяснить весь спектр возможных смыслов, даже тех, которые не очевидны на первый взгляд, а содержатся в скрытом, завуалированном краской риторикой виде.

Рассмотрим, к примеру, понятие “преступление” в возможной вариации интерпретативных подходов к нему в различных социальных условиях. Для личности, находящейся на стадии социализации, понятие “преступление” четко определено структур-

ными правилами. В начале жизненного пути не может быть иной личностной интерпретации, кроме той, что предлагается кодексом. В процессе самоактуализации, однако, установка может быть качественно изменена. Энергия, необходимая для реализации собственных интересов, потребует переоценки общественных норм как фактора, сдерживающего личностную активность. Эта энергия неизбежно вступает в конфликт с необходимостью принимать во внимание интересы других. В определенном случае, если официально зафиксированный закон оказывается не соответствующим реальным потребностям, субъект вполне может найти оправдание своему собственному пути реализации, считая закон неправильным. Его собственные действия не будут казаться ему преступными, тогда как с легальной точки зрения определение его действия будет однозначным. Хотя и понятно, что окончательное решение будет вынесено доминантной структурой и что бы ни казалось истинным данному субъекту, его действия, в конечном итоге, неизбежно подпадут под рассмотрение соответствующего кодекса, которому обязаны следовать члены общества, это еще не значит, что в доминантном поле лежит “социальная истина”. Потенциальный успех или неуспех частного определения будет зависеть от социальных характеристик доминантности. Если окончательное решение вопроса есть результат рационального дискурса, социального согласия, то личностные амбиции рано или поздно будут вынуждены подчиниться общепринятыму пониманию справедливости, даже если эти амбиции прикрыты красивой риторикой. Если доминантность лишь риторическая, то есть поддерживается скорее символической силой привычки или идеологией власти, подкрепляемой физической силой, то личностная позиция может стать рациональным центром, вокруг которого может развиться оппозиционная дискуссия. Фокус поиска социальной истины может переместиться в коммуникативную сферу, где будут намечаться пути разрушения доминантной риторической оболочки.

Социальный дискурс, однако, не дает справедливого решения автоматически. Проблема в том, что ни одно коммуникативное событие не происходит в идеальной ситуации. Скорее, мы сталкиваемся с противоречивыми способами формирования мнений. Кто-то искренне согласен с существующими определениями, а кто-то лишь повторяет их, выдавая за собственные убеждения. Тем, кто наделен властными полномочиями изменять законы, предоставлено поле для изобретения новых оправдательных риторических средств для продвижения собственных интересов в ущерб тем, кто не обладает властью. Коммуникативная практика - это не только спор частных мнений, но и борьба разнородных попыток генерализации отдельных мнений в новые идеологии. Добытая крупица истины может быть легко сметена новой помпезностью, часто сопровождающей момент идеологического самоутверждения. Рациональные доводы всегда подвержены потенциальной опасности быть втиснутыми в различные риторические формы, затушевывающие истинные намерения автора. Процесс социальной валидизации интересов может быть подчинен чисто экспрессивным средствам. Часто гораздо важнее произвести впечатление (читай, обмануть потребителя своей внешней респектабельностью), чем доказать, что личный интерес имеет общественную полезность. Именно поэтому социальному поиску истины так необходимы герменевтические усилия по отшелушиваниюискажающих наслоений. Наличие или отсутствие альтернативы любым претензиям на влияние в обществе становится решающим фактором в дискурсивную эпоху. Отсутствие альтернативы создает опасность распространения чисто внешних, в том числе чуждых данному социокультурному пространству, символических форм. Только длительный процесс социальной оценки и переоценки появляющихся альтернатив приводит общество к выработке здравого смысла, а научное сообщество к истине. Раскрытие потенциала текста через качественный анализ предполагает деконструкцию, с одной стороны, рациональ-

ной логики текста, или внутренних правил построения его аргументов, а с другой, - его идеологической ориентации, определяющей его место в общесоциальном историческом контексте. Но, кроме того, необходимо критическое рассмотрение соответствия символической оболочки и текста, и контекста их ценностно-нормативному содержанию.

Рациональные средства делают упор на суть идеи. Риторические средства подчеркивают экспрессивную силу символов, чтобы сделать идею доступной и привлекательной для восприятия. Рациональная суть искажается уже самим фактом облачения смысла в слова. Передать смысл можно разными словами, но любая формулировка уже ограничивает свободу смысла. Когда же формулировка становится формулой, она лишает смысл последних степеней свободы. Смысл становится абсолютно ясным, но глубина его исчезает. Чем яснее формула, тем меньше возможности мыслительной импровизации и развития. Риторика идеологически доминантной системы тщательнейшим образом нацелена на построение ассоциативных мостов между идеей и обратной реакцией на нее. Символы такой риторики максимально просты и часто повторяются специально для того, чтобы вклинииться в сознание реципиента и стать тем автоматическим рычагом, который вызывал бы предсказуемую реакцию. Именно таков был механизм построения сознания “простого советского человека” и точно таков же механизм рекламы, создающий “массовое общество”, послушное потребительским искушениям. Совершенно одинаковы технологии создания советской или американской “мечты”, мифов как о коммунистическом, так и демократическом рае.

Слабой стороной риторики (независимо от уровня действия и степени авторитетности ее производителя и носителя - верховой власти или просто самоуверенного индивида, пытающегося навязать другим свою точку зрения) является все же ее конечная неспособность справиться со спонтанностью практического само-

выражения, что необходимо, чтобы достичь полного контроля над реципиентом. Как бы ни старались психологи подсчитать оптимальное число повторений, чтобы намертво внедриться в сознание, все же оказывается, что непредсказуемость вновь возникающих идей и потребностей гораздо сильнее, хотя нельзя не признать определенный успех различного рода пропаганды и рекламы в навязывании массе ее потребностей. И все же без постоянной поддержки связующей нити с самовыражающейся практической сферой риторические средства коммуникации обречены на отмирание. Отсутствие новизны погашает интерес и внимание к тексту, нивелирует его социальную значимость. Символическая гомогенизация любой идеи превращает ее в банальность. Застывшая системная риторика отвращает от себя общество, заставляя его искать собственные пути культурно-практической реализации.

Текстовый анализ призван не только констатировать характер доминантности и соотношение доминантных и критических позиций в обществе, но, по возможности, определить насколько убедительными являются эти позиции. Определить искренность позиции - невыполнимая задача, так как невозможно проникновение в мысли и чувства автора (к чему призывали ранние герменевтики и от чего отказались современные сторонники качественных, “понимающих” методов). Глубинные мысли и чувства на всегда остаются загадкой для любого, кому они не принадлежат. Текст, выраженный автором, безусловно, не есть их прямая копия. Произнесенная фраза сразу же отчуждается в известном смысле от породивших ее мыслей и эмоций. “Мысль изреченная есть ложь” - сказал поэт. Мысль изреченная, то есть заключенная в вербальную оболочку, всегда мельче и беднее работы разума. Но, смирившись с невозможностью постичь работу разума, исследователь текста вполне может, беря на вооружение свой диалектически логический метод, выявить скрытые несоответствия верbalной аргументации объективным ожиданиям, кото-

рые диктуются контекстуальными правилами. В неискушенных текстах или текстах, нацеленных на невзыскательного реципиента, такая фальшь часто видна и “невооруженному” глазу. Наиболее очевидным примером служит неискусная реклама. “Безупречны от природы йогурты Эрманн” - трехкратно пропевают нам с экрана телевизора, не пытаясь даже продемонстрировать какие-либо полезные качества рекламируемого продукта. Встретив в магазине упаковку такого йогурта, более или менее внимательный покупатель тут же обнаружит, что йогурт термически обработан, может храниться чуть-ли не бесконечно долго и, следовательно, в нем нет никаких полезных культур, что составляет, собственно, качество йогурта. Уже давно хорошо известно, что любые обещания “самого-самого” лучшего, совершенного, как правило, фальшивы. Вот похожий пример: “Сравните, - говорят нам, - вот обычная, “натуральная” каша, а вот каша быстрого приготовления “Быстров”, видите, отличий нет, покупайте кашу “Быстров” и получите такое же качество, как в обычной каше, но гораздо быстрее”. Но при сравнении картинок на рекламном плакате в метро элементарное напряжение внимания тут же обнаружит демонстрацию не двух разных, но внешне похожих по консистенции каш, а одной и той же фотографии с абсолютно идентичным расположением цветовых пятен, штрихов, теней. Доверие реципиента к рекламируемому продукту моментально исчезает. Такого же сорта реклама косметики, предлагающая сравнить внешний вид клиента “до” и “после” применения “чудодейственного” средства. При этом очевиден измененный фокус и более интенсивное освещение на фотографии “после”, что говорит в пользу именно этих факторов в уменьшении количества видимых морщин на лице. А вот противоположным примером убедительного текста вполне может служить реклама чистящего средства “Фэйри”, которая наглядно показывает механизм расщепления жира и предлагает убедиться на собственном опыте в экономичности расходования и эффективности средства. Убедительность обес-

печивается не формальной логикой, а последовательностью в развитии идеи, и даже если сама идея не вполне зрелая, последователен будет стиль ее обсуждения автором с кем-либо или с самим собой. Чем отличается формальная логика от последовательности изложения? Тем, что последняя, в отличие от первой, заботится о предупреждении возможных сомнений в правильности излагаемого, то есть пытается разрешить их в проекции, гипотетически, еще до того как они возникнут, другими словами, последовательность обеспечивает многомерность подхода к исследуемому предмету и, таким образом, добивается целостного и динамичного качества текста. Таким образом, стиль, “не терпящий возражений”, в смысле убедительности обречен на неуспех в гораздо большей степени, чем допускающий разные, но вполне согласующиеся друг с другом толкования.

Однако легко спутать выражение такой последовательности мышления с тщательно подобранными риторическими формулями, призванными не столько убедить, сколько заставить поверить в искренность, создать иллюзию убежденности у реципиента, как это часто бывает, скажем, в предвыборных речах и программах кандидатов. В таком случае может быть недостаточно какого-либо одного текста данного автора - потребуется долгая работа аналитика с текстами автора, сравнение его программных речей с неформальными высказываниями и т.п., чтобы понять, является ли текст примером искусного PR, или это искренняя позиция. Аналитик качества текстовой продукции напрямую связан с дискурсивной работой самого общества, социально-культурным поиском истины.

Понимание специфики данного общества, его “менталитета”, это дело, прежде всего, самого общества, становления его самосознания. Задача социального исследователя, “глубинного интерпретатора”, - выявить через анализ качества социально-продуцируемых текстов скрытые, на первый взгляд, пути и способы, какими общество приходит к самоидентификации, благодаря или

вопреки доминантным (соответственно рациональным или риторическим) тенденциям символического структурирования. Анализ исторического контекста, диктующего правила и логику социальных ожиданий, соотношения рациональных и риторических средств построения текста, и, как результата, убедительности позиции - вот что, резюмируя, можно назвать основными составляющими интерпретативного анализа, призванного вскрыть качество отношений между социальной практикой и доминантными символическими формами.

“Как это было”

Таково название известной телепередачи 90-х. Общество конца 90-х вступило в историческую fazу поиска себя. “Кто мы?” - таков общий вопрос поздне-трансформационного периода. Популярны широкие дискуссии, более всего так называемые “ток-шоу”, пытающиеся с разных сторон подойти к этому вопросу. Системная попытка перестройки в демократию конца 80-х не только не решила, но, наоборот, обострила этот вопрос. Оказалось, что нельзя “перестроиться” простой сменой символов, переименованием улиц и сносом старых памятников. Нужно пристально глянуть в прошлое, понять причины, заведшие систему в тупик, а общество - к отрицанию системы, спросить у очевидцев прошлых событий, как это было на самом деле, то есть очистить прошлое от тех интерпретативных наслоений, которые мешают понять его реальное влияние на современность.

Выпуск телешоу под прямым названием “Как это было?” от 24 января 1998 года был посвящен “делу” фарцовщиков конца 50-х. Именно в то время стал видимым разрыв между официальной и практической сферами. Послевоенное молодое поколение воспитывалось в противоречивой ценностно-нормативной обстановке. Его учили быть прилежным в усвоении идеологических постулатов аскетизма, честности, полной отдачи себя Родине, но

они вскоре чувствовали, хотя пока, возможно, и не очень осознанно, что их практические желания не совпадают со структурными требованиями. Молодые люди видели, что быть честным на практике означает иметь мизерную зарплату и влечь нищенскую жизнь, они уже понимали, что качество их жизни больше зависит от связей с нужными людьми, чем от усердия в учебе, поэтому усердие часто направлялось на то, чтобы изобрести пути обхода нормативных инструкций, а иногда и законов, мешающих жить хоть немного лучше официально разрешенного уровня.

Фарцовщиками и называли молодых людей, стремящихся к более материально обеспеченной жизни. Таким был Юрий, которому на момент исследуемых событий в 1957 году было 17 лет. Это, как известно, был год Всемирного молодежного фестиваля, привлекшего в Москву множество иностранных участников, привезших с собой валюту и заграничные вещи, которые и составляли бизнес фарцовщиков. 40 лет спустя на телевизионном шоу, задачей которого было пересмотреть и переоценить события давних лет, бывший фарцовщик встречает своего социального оппонента в те годы - журналиста Илью, написавшего обличающий фельетон, после которого вся легальная карьера молодого фарцовщика была обречена. Его выгнали из музыкальной школы, он не мог найти себе работу, ему ничего не оставалось, как целиком погрузиться в подпольный бизнес, что и привело его, в конечном итоге, на тюремную скамью.

Конфликт молодого человека с официальной структурой определил главный фокус публичных теледебатов. С очевидным намерением восстановить справедливость организаторы телешоу оформили его в стиле безапелляционного публичного суда над прошлым, в ходе которого ожидалась реинтерпретация позиций участников событий ими самими и зрителями. Общая перестроичная атмосфера задала контекстуальные правила переоценки, проводимые через вопросы ведущего главным героям и свидетелям. Формальная предпосылка, на которой строились вопросы, была, по-видимому, в том, что оценки в процессе дискуссии дол-

жны сместиться с оценок 50-х годов на прямо противоположные. Бывший фельетонист, очевидно, должен был публично покаяться, а бывший преступник - предстать невинным страдальцем или даже политическим героем, диссидентом, борющимся с несправедливой системой. На это провоцировали такого рода вопросы:

Ведущий (бывшему фарцовщику): “На что Вы тратили заработанные таким образом деньги? Вам ведь просто хотелось хорошо жить?”

Бывший фарцовщик: “Мы одевались только во все иностранное, ходили в рестораны, развлекались с девочками”.

Ведущий (журналисту): “А как Вы жили в то время, сколько зарабатывали? Неужели и Вам не хотелось иметь много денег, носить модную одежду, вести веселую жизнь?”

Журналист: “Мы, советская молодежь, боролись за наши социалистические идеалы, мы презирала материальные ценности, мы кипели негодованием к фарцовщикам, предающим эти идеалы.”

Подтекст “наводящих” вопросов напрашивается сам: “Как это ужасно, что молодой человек с “нормальными” потребностями пал жертвой негуманной системы. Как возможно для журналиста быть настолько парализованным системой, чтобы писать угождающие тексты, способные разрушить молодую жизнь?” Однако ответ журналиста оказался совсем нетипичным для “перестроечного” времени. Как можно интерпретировать такой ответ? Имеем ли мы дело лишь с усвоенным в молодости стереотипом или это отражение действительных ценностей той части общества, которая искренне разделяла социалистический настрой? На данном этапе анализа понять это сложно, ясно только то, что один из героев шоу не стал публично каяться в ошибках молодости, не поддался на провокационные вопросы ведущего, вероятно, ожидающего ответ типа: “Да, я был молод, я не понимал всю негуманность той системы, в которой жил, я был обманут”.

Что же другой участник, пострадавший в то время от рвения молодого комсомольца? Получил ли он со сменой эпохи мораль-

ную компенсацию за сломанную жизнь, почувствовал ли себя героем времени, возгордился ли тем, что справедливость, наконец, восторжествовала?

Бывший фарцовщик, в отличие от своего оппонента, с течением времени действительно пересмотрел события молодости. История его жизни оказалась непростой. Попав в тюрьму, он тяжело заболел и по состоянию здоровья был досрочно освобожден. В течение многих лет он оставался серьезно болен и физическое неддоровье привело его в конечном итоге в ... церковь, где он обрел моральную поддержку для переоценки всей своей жизни. В настоящее время он поет в церковном хоре, где нашел применение своему незавершенному музыкальному образованию. В чем же состояла его переоценка собственной жизни? Первая ее часть однозначно интерпретировалась им как досадный, неприятный конфликт с властью, в который он “по молодости, по глупости” попал. Конечно, он не чувствовал себя опасным преступником. Ему, как он считал, просто не повезло, что он попался, засветился на ерунде, за которую поплатился слишком сурово. Однако он не чувствовал себя и героем, боровшимся с несправедливостью. Долгое время он был на распутье, не понимая, в чем смысл его жизни. За что он был благодарен церкви, это - в очищении от греха. Но в чем состоял этот грех? Его грех, как он понял, состоял не в преступлении против власти и охраняемого ею режима - в этом плане он не заслуживал такого наказания, какое получил. Но его грех имел моральный характер: он пытался удовлетворять *свои жизненные потребности за счет других членов общества*. Именно церковь, как это ни кажется на первый взгляд парадоксальным, если учесть взаимную нелюбовь церкви и коммунистического общества, помогла ему понять *социальную* сущность его греха. Интересно в этом случае то, что бывшие социальные оппоненты в конце “дебатов” пришли к взаимному согласию. Их разные жизненные пути привели их к одному и тому же пониманию социальной правды, к одним и тем же ценностям. “Я рад, что Юрий стал порядочным человеком” - ска-

зал бывший журналист, так и не пересмотревший под влиянием новых идеологических веяний старые принципы. Для Юрия принципы молодости оказались менее однозначными, но их пересмотр не совпал с тем, что диктовалось контекстуальными правилами. Переоценка оказалась гораздо более глубокой и сложной.

Социальное расследование, предпринятое журналистами 90-х, дает богатую пищу исследованию ценностно-нормативной редукции, происходившей с конца 50-х вплоть до 90-х. Герменевтическая валидность обеспечивается самим социальным основанием метода. Телевизионное шоу становится значимым, с герменевтической позиции, текстом, предлагающим информацию “из первых рук”. Организованное в стиле публичного суда двух разных персональных историй жизни, развивающихся в одних и тех же системных условиях, ТВ-шоу представило не только столкновение различных позиций, но и их динамику в исторически измененном символическом контексте.

Научная недостаточность расследования, проведенного чисто журналистскими средствами, обусловлена его публично-демонстративным характером, диктуемым новыми контекстуальными правилами, - переориентацией на новую символическую доминантность, системно противоположные западно-демократические ценности. Этот фактор, как видится, оказал определяющее влияние на изначальные ожидания организаторов шоу, неизбежно, в силу своего статуса и ответственной роли, вовлеченных в системно-рекомпозиционные игры. В меньшей степени контекстуальные правила повлияли на поведение участников, не обеспокоенных *способом* представления. Демонстративный характер презентации обусловил фокусировку на внешней эффектности рассматриваемого случая, представленного как конфликт молодой личности с подавляющей системой, тогда как глубинный слой конфликта, его внутренний социальный характер был упущен. Наш интерес лежит как раз в интерпретации этого глубинного социального пласта. Как дистанцированные и беспристрастные на-

блюдатели, мы можем ментально реорганизовать данную дискурсивную ситуацию так, чтобы очистить ее от стесняющих рамок старой и новой доминантной риторики.

Для журналиста, говорившего от лица своего времени, советская ценностно-нормативная структура не представляла проблему. Он успешно “вписался” в эту структуру. Он интернализовал такую логику жизни, согласно которой общий интерес и охраняющая его системная норма обладали приоритетом перед частной потребностью. Успешная социализация позволила ему занять хорошую статусную позицию. Он чувствовал свою принадлежность структуре, и это его удовлетворяло – системная логика давала ему возможность реализовать свой жизненный проект так, как он себе это представлял.

Жизненный путь бывшего фарцовщика был логически иным. Обладая более импровизационной натурой, он явно не вписывался в официальные схемы социализации. Не усвоив, по разным причинам, основного правила построения жизненного плана, он приобрел гораздо больше шансов на спонтанную самореализацию в соответствии с простой и естественной схемой: потребности - интересы - ценности - нормы. Эта схема была полной противоположностью официально предписанной формуле, ставящей норму на первое место, а личностный интерес на последнее. Суть его личностной драмы на научном языке вполне описывается конфликтом между потребностью в принадлежности к общности (*identity of belonging*) и потребностью в самовыражении (*self-identity*). При гармоничном ходе социализации эти два аспекта идентификации последовательно сменяют и дополняют друг друга. Но в условиях системного идеологического пресса отсутствует легальное пространство для спонтанных форм реализации и, следовательно, возможность баланса двух стадий идентификации, что порождает в перспективе крайние формы: либо целиком конформный, либо бунтарский тип личности. В 17 лет наш герой находился скорее в состоянии некоего смятения, нежели в состоянии

оппозиции системе. Он не пришел еще к осознанным формулировкам “нормальности” общественного устройства и собственной позиции в нем. Логика естественной самореализации вступила в неосознанный конфликт с логикой системной идеологии, предписывающей сменить естественность как примитивное, первобытное состояние на “культурные”, “правильные” формы сознания и поведения. Естественность идеологически отождествлялась с “недоразвитием”, которое должно было быть “исправлено”, “окультурено”, а при настойчивой активности подавлено как угроза системной целостности, как “преступление”.

Коммунистическая идеологическая система опиралась, однако, на исторически сложившееся в России понимание справедливости, закрепленное в общинной системе ценностей. Индивидуальная деятельность по удовлетворению собственных интересов интерпретировалась в 50-е годы как вызов коллективно разделяемым ценностям и нормам. Деятельность, направленная на частное обогащение за счет других членов общества, была оппозиционна не только с точки зрения фиксированного закона, но также и общественной морали, то есть той здравой части идеологической концепции, которая находила практическое подкрепление. Фарцовщики были, по терминологии того времени, “спекулянтами”, они устанавливали цены на перепродаляемые ими вещи произвольно, и, как правило, эти цены не были доступны большинству честно работающего населения. Именно поэтому эта деятельность на тот момент времени была асоциальной. Позиция бывшего фарцовщика противоречила не только той закостеневшей части символической системы, которая стремилась подавить любые всплески спонтанной, незапограммированной личностной активности, но и той ее части, которая на тот момент, в 50-х, оставалась социально значимой. Возможно, общество не восприняло бы так негативно такого рода деятельность, если бы она имела справедливый, в том понимании, общественный эффект, например, если бы прибыль, получаемая фарцовщиками, не контра-

стировала так явно со средними доходами, если бы их деятельность согласовывалась с возможностями большинства жить по потребности. Молодой журналист, воспитанный в советских традициях, получал, кроме того, совсем небольшую зарплату и вряд ли мог позволить себе приобрести что-либо из того, что предлагалось фарцовщиками. Вполне объяснимо поэтому его негодование, подкрепленное усвоенной нормой, с одной стороны, и его личной практической ситуацией, с другой. То, что он с течением времени так и не изменил усвоенным принципам говорит в пользу искренности его тогдашней позиции. Он считал и теперь считает справедливой борьбу с “антиобщественными элементами”. Интересно, что к такому же пониманию справедливости пришел и его бывший противник, вопреки кардинальной смене системных ценностных ориентаций.

Этот внутренний социальный конфликт оказался нераскрытым телевизионным расследованием 90-х, намеренно пытавшимся лишь обличить грехи системы. Но при более глубоком анализе становится понятным, что постепенное создание специфически советских форм взаимодействия предопределило социальное не-приятие того пути реконструкции нормативной структуры, который был задан системной реидеологизацией. Деятельность, направленная на личное обогащение “за счет других”, до сих пор социально не легитимирована, как это видно по пренебрежительному отношении общества к “новым русским”.

Что продемонстрировало ТВ-шоу? Это то, что простое отрицание советского прошлого невозможно. Несмотря на очевидную несостоятельность системной идеологии коммунизма, зашедшей в логический тупик из-за неспособности изменяться вместе с изменяющейся практикой, ценностно-нормативное ядро, обеспечивающее ее жизнеспособность в течение стольких лет, серьезно мешает теперь безоговорочному принятию демократической идеологии в ее западном варианте. Этот случай указал на существование путей формирования специфически советского здравого

смысла через внутренний, социальный конфликт растущих потребностей и подавляющей системы. Если молодое поколение 50-х вынуждено было жить в раздвоенном состоянии, лишь интуитивно ощущая несовпадение своих желаний с предоставляемыми возможностями, то общество 80-х уже вполне осознанно строило свои отношения на принципе полезности и взаимовыгоды, невзирая на окостеневшие инструкции. Тогда общий уровень жизни уже позволял производить широкий неформальный обмен услугами в условиях экономически неэффективной системы, следствием которой явился тотальный дефицит товаров. Кто-то мог обеспечить место в гостинице, но хотел за это билет в Большой театр, кто-то мог достать видеомагнитофон, но хотел взамен, чтобы его ребенок поступил в престижный вуз и т.д. В 80-х общество уже могло “договариваться”, оно создавало систему собственных неформальных связей, обеспечивавших стимулы его функционирования. Тогда фарцовщик стал “уважаемым человеком”, потому что действовал не вопреки общественным возможностям, а на пользу им. Он стал своего рода рациональным центром, вокруг которого происходило изменение структуры отношений, основанной на потребности, вслед за которой развивались интересы и постепенно могли бы развиться соответствующие ценности и этические принципы взаимодействия. Это уже было время, когда альтернативные способы общения вышли из подполья и стали осваивать широкие массовые пространства. Это не значит, что “диссидентство в разной степени становилось массовой городской профессией”, как утверждала другая телевизионная программа “Намедни” от 24 января 1998. Так нельзя сказать хотя бы потому, что диссидентство представляет собой общественную оппозицию, вынужденную выйти на поле политики и играть по правилам этого поля. Не многие общественные деятели решались давать открытый вызов системе. Социальная жизнь 80-х не была политизированной, она вращалась в собственном социокультурном пространстве, игнорируя или иронизируя над запутавшейся в идеологической

риторике властью, уже не способной сильно мешать спонтанному развитию общественного взаимодействия. В 80-е просто смеялся общественный центр тяжести. Теперь уже не серая масса тянула назад нахальных оригиналов, осмелившихся высунуться из общего болота бедности, а вполне осознавшее свои реальные желания общество подтягивало на свой уровень отставших идеалистов. Важно заметить, что процесс развивался в нормальном интерактивном русле, как взаимообмен действиями и понятиями. Сохранялось определенное общественное равновесие, соотнесение внутренних общественных потребностей и возможностей, то, что позднее, в 90-е, было разрушено до основания резкой системной реидеологизацией. Раздражение, накопившееся за долгие годы идеологической бессмыслицы, вылилось в необходимость быстрой смены системной символики. Возможно, поэтому плавное социокультурное течение по восстановлению здравого смысла быстро превратилось в поток, стремившийся снести на своем пути вместе с отжившей идеологией и свои выработанные годами национальные традиции. Этому не слишком окрепшему еще течению необходима была оправдательная концепция, которая уже с готовностью предлагалась красивой риторикой западно-демократической идеологии, и которую, казалось, нужно просто перенять, чтобы поскорее забыть о нелегкой работе формирования собственного социокультурного пространства. Однако не так просто целиком отречься от своего прошлого, в частности, от ценности *общности* имеющихся и вновь приобретаемых благ.

Общество 50-х - 80-х строило свою ценностно-нормативную структуру, выбирая из официально фиксированных стандартов те, которые оказывались практически полезными, и добавляя к ним идеи, порождаемые новым опытом. Общество, накопившее за годы советского политического застоя критический потенциал, приобрело в то же самое время и собственный социокультурный багаж, который, как бы немодно это теперь ни звучало, был также советским. Именно этот багаж постарались выплеснуть, как того

ребенка вместе с водой, из социальной памяти. Общественные традиции долгое время выстраивались на этой советской ценностно-нормативной основе, глубоко не соответствующей ценностно-нормативной основе, породившей западно-демократическую идеологию, красивой риторической оболочкой которой прельстились трансформаторы 90-х. Общественный культурно-критический багаж, с одной стороны, отверг привычные попытки системы навязать сверху “национальную идею”, а с другой, - еще концептуально не сформировал собственные жизненные принципы. Обществу потребовалось время, чтобы понять необходимость самоидентификации в новых исторических условиях, определить те свои культурные опоры, на которых надо строить новую концепцию национальной практической жизни. Общественное развитие вошло в новый виток “герменевтического круга”, в котором разнообразие практических усилий по самореализации перманентно сменяется символически-обобщающими формами, окостеневающими риторические формулы которых, в свою очередь, взрываются новыми стимулами самоутверждения.

Культурно-символическая продукция отражает системно-социальные и внутри-социальные отношения исторической эпохи. Качество этих отношений определяется стадией социальной идентификации, то есть способностью общества выдвигать и отстаивать свои интересы. Социальное признание определяет степень “нормальности” социальной системы, то есть сама система может считаться социальной, если ее критические силы находятся в балансе с системо-образующими факторами: властью и ее неизменной опорой - народом. Если система социально одобрена, то это значит, что ее доминантность имеет рациональную основу (даже если так не кажется внешнему наблюдателю). Так, в исторический период поддержки системных институтов не только со стороны ищущей протекции массы, но и критически ориентиро-

ванных слоев общества, социокультурная продукция будет следовать системно очерченному руслу мышления. Рациональные и риторические средства коммуникации здесь идут рядом, способствуя наилучшему влиянию на аудиторию. Именно так было на заре строительства коммунизма, в 20-х годах, когда общество искренне верило в справедливость начатого дела. В такую эпоху нет именно *социального* пространства для антисистемных настроений и ценностно-нормативных конструкций. Именно общество стоит на страже системных ценностей, именно оно легитимирует систему. Любая оппозиция в такой момент звучит как голос белой вороны в стае черных. Политическая цензура имеет в таком историческом контексте не столько репрессивную функцию, сколько функцию поддержки общественного настроя. Социальная критика плавно вписывается в системную риторику (вспомним хотя бы тексты Маяковского). Риторика, в свою очередь, находит искренний отклик на эмоциональном уровне (вспомним искренний энтузиазм первых пятилеток, патриотизм военных лет). Даже если с отстраненной во времени и/или пространстве точки зрения хочется представить, например, документы сталинской эпохи насквозь лживыми (теперь принято разоблачать “неправду” как официальных документов, объявляющих невинных людей врагами народа, так и кинокомедий, рисующих жизнь в радужных тонах), исследователю “качества текста” необходимо исходить из степени влияния текста на общество, из его способности вызвать общественный резонанс, приводящий к принятию или отвержению текста. Так, как бы ни хотелось нам сейчас или внешним наблюдателям обвинить сталинский режим, нужно понимать, что он был возможен только при признании его “правды” тогдашним обществом или, как минимум, достаточно большой его части (если и вызывают сомнения в искренности тексты тогдашних печатных СМИ, то это отчетливо видно в документальной кинохронике). Такое единство рациональных и риторических средств социальной структурации сохраняется до тех пор, пока

доминантные символические рамки вбирают в себя спонтанные импульсы социальной практики. Трещина между системным и социальным возникает тогда, когда доминантная риторика, охраняя властью, оказывается неспособной изменяться вместе с изменяющимся здравым смыслом. Чем дальше “мысль изреченная” отходит от работы мышления, тем фальшивей она становится.

Медленно, но верно коммуникативный взаимообмен создает альтернативную рациональную атмосферу. Социально-культурная продукция меняет жанр. Вспомним, что стало популярным в 70-е годы: сатира и юмор театра, эстрады и кинокомедий, анекдоты, высмеивающие замороженную официозность, в 80-е - молодежная рок-музыка, призывающая “делать паузы в словах”, чтобы вернуть в культуру утраченный идеологической риторикой смысл. Но пронизывая все сферы жизни, внутренняя критическая струя на волне отрицания впадает в опасность некритического заимствования внешней и, может быть, чуждой данной социальной среде культурной символики, как это произошло в развитии социальной критики и в ее переходе на системный уровень в 80-х гг. Общественный дискурс, подготовивший системные перемены, в пору самих перемен вынужден был уступить место политическим играм 90-х, заимствовавшим свои правила из другой социально-культурной среды, внешне казавшейся на тот момент гораздо более привлекательной, чем своя собственная. Таким образом, социальные поиски практически соотносимого с данной культурной средой смысла отодвинулись на задний план. Социальное внимание обратилось к политической сфере, обещающей скорейшие изменения. Рутинная социокультурная работа замерла в предвкушении развития политических событий. Именно в тот период мы наблюдали “культурную пустоту”. Выполнив свою скрытую, подрывную по отношению к политическому застою, работу, культурная сфера заняла наблюдательную позицию.

Переместившись с социального на системный уровень, коммуникативный дискурс неизбежно должен облекать себя генерализующей символикой, подходящей именно для этого уровня.

Исторически сложившийся разрыв между социальной и системной сферой в России инерционно сработал и в период трансформации. Ответственная за сохранение системных институтов сфера власти не привыкла строить свои генерализующие стратегии на социально-практических импульсах, и реидеологизация не только не помогла сменить привычку действовать по командно-идеологическим правилам, но поспособствовала ей. Облаченная в новые идеологические покрывала, исторически проверенная тактика подавления властью спонтанных форм социального структурирования отчетливо проявилась в середине 90-х. Но попытки изобрести и навязать обществу сверху “национальную идею” оказались безуспешными. Не получилось, с одной стороны, из-за несоответствия привычных системных схем и методов управления исторически изменившимся общественным потребностям, а с другой, - сменившейся символики общественному менталитету, то есть социокультурному капиталу, который нужно было бы не ломать, а сделать опорой реформ. Поиск системно-социального баланса и составляет основу социальной идентификации, пришедшей на смену системной реидеологизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Gadamer H.G. The Universality of the Hermeneutical Problem // Bleicher J. Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique.* London: Routledge, 1980. P. 128-140.
2. *Jensen K.B. Humanistic Scholarship as Qualitative Science: Contributions to Mass Communication Research // A Handbook of Qualitative Methodologies.* 1991. P. 17-43.
3. *Larsen P. Textual Analysis of Fictional Media Content // A Handbook of Qualitative Methodologies.* 1991. P. 121-134.
4. *Ricoeur P. The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text // Social Research.* 1971. Vol. 38. Is. 3. P. 73-101.
5. *Wallerstein Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System // Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity / Ed. by M. Featherstone.* SAGE, 1993.